

ВЛАДИМИР ЯШКЕ

И НАСТУПИЛ ДЕНЬ КОГДА (СТАЛИН, КРЫСЫ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ)

Когда умер Сталин, мне только что исполнилось 5 лет. Я родился 2 марта, а 5 марта он и умер. Впрочем, дата и место моего рождения сокрыты для меня в тумане жестоких взрослых игр, рано и жестковато разбудивших мое осознание себя и мира вокруг меня. Это еще только что младенческое сознание запечатлелось в памяти с неистребимой ясностью во всей первородной резкости красок — конечно же, по-детски правдиво, но в сумасшедших для взрослых искажениях. Все, что так безжалостно потрясло весь этот дальний край и всю мою огромным таежным телом лежащую меж ледовых морей замордованную и притерпевшуюся к нескончаемым ужасам Родину. Если смотреть на карту, то это животное ясно читается головой в Европе с глазом Москвой и с Азией в попе с анальным отверстием в Магадане. Если проследить еще дальше, к Аляске, то Чукотский поповый хребет завершается внушительным даже на глобусе хвостищем Камчатки, а на кончике хвоста, как репей, прилепился дорогой моей памяти городок Петропавловск. Он-то и был местом действия первых моих уже связанных воспоминаний. Сегодня это животное изрядно похудело и, разродившись независимыми державами разных калибров, приобрело первородную стройность и, я бы сказал, даже изящество, если бы не напоминало порой огромную драную кошку, до того веками беременеющую бог знает какими чудесами. Кошка, впрочем, подобных размеров у всех народов носит другие имена. На моей малой родине — в Приморском и Уссурийском крае — ее зовут Амба. Да и малая родина моя по Амуру и Уссуре и до Авачи размером чуть что не с Европу. Так что все относительно. О Курилах говорить неудобно, но они привычны, как свое добро, а хвост все время подумывает о независимости, ходят такие слухи. Странно и диковато. Оторвать, конечно, можно. Но независимость? Сомнительно это все. А, впрочем, — чего не бывает... А все бывает. Как бы то ни было, а хвост этот — место на Земле самое дорогое моей памяти.

Там мои начала. Там сразу после Приморья продолжение моих зарождений — самые главные мои пробуждения. Эти дикие, отторженные цивилизациями фантастической первозданной красоты и мощи обширные края — вымороженные и лежащие прямо в самом огромном Тихом океане цепью вечных льдов, таежных дебрей и огнедышащих вулканов с ущельями смерти, где все живое мгновенно погибает в исчадиях каких-то мощных из недр планеты испарений, с долинами вечной весны, где почва источает горячие гейзеры и круглый год зеленеют травы, цветут невиданные в других краях дикие цветы и лопухи в два человеческих роста, где бродят олени, черные и бурые лисы и немислимых размеров бурые камчатские медведи с головами с гигантский котел, где все как бы подвержено в силу природных причин гигантомании, и лишь человек не возносит себя и не считает царем природы и пупом земли, а знает свое место как человеческое животное, жесточайшее, но и самое хрупкое из живущих на Земле.

Там, в бесчисленных ручьях и быстрых, прозрачной слезы, реках вьются серебристые форели тельца, а поверх, над ними — мириады огромных, с фасетными фарами глаз, изумрудно-бирюзово-рубиновые стрекозы, и — в ладонь —

ширококрылые, замысловатого узора, причудливой фантазии бабочки, и птички стаи беспамятных уже мне прозваний.

Там из океана вырастают вдруг огромные, все сметающие на своем пути водяные, крутого посола валы, небо обрушивает бесконечные водопады дождей или все заваливает многометровыми сугробами. Нескончаемые, бешеной силы, сменяющие друг друга ураганные ветры валят или узлами плетут даже в несколько обхватов удивительной крепости каменную березу. И оттого так сладостно и трепетно принимать вдруг наступающее затишье в этой без малейшей иллюзии одомашнивания необузданной стихии, напрямую повязанной с бездной мироздания неба, земли, огня и воды. Это в Европе, на материке люди живут, как будто будут всегда, и всегда в силе, и достатке, и власти. И кто из живших «там» забудет хоть на миг свою малость, кто забудет себя как всего лишь часть необъятного, непостижимого и великого космоса, когда ежедневно по многу раз вдруг да пошатнется казалось бы незыблемая земная твердь, а как-то вдруг и вздыбится, все превращая в пыль и тлен и прах и проглотит в себя, а из себя с ужасающей мощью извергнет раскаленную багрово-серую лаву с миллионами тонн пепла, камня, газа, пара и металла.

И век наш, не давая себя забыть ни на миг, эта дремучая первородная сила тем одним уже и посвящает нас в свое бессмертие и в свое величие в том бесконечном, запредельном ряду величий и бессмертий, что никому из нас уже и немислимы. И это извечная школа нашей дерзости и нашего смирения перед лицом всевышней непостижимой для нас воли. Как-то так получилось, что страшное и привычное, как свое, имя это: Сталин — оплелось в детскую память вместе с явлениями природы, но именно что как часть ее, и не именно — родины, а вообще природы. Черный круг радио постоянно вещал, что дедушка — Ленин, а Сталин — отец. По-детски рассуждая, получалась невероятная родственная путаница. Ведь я уже знал, что у меня есть дедушка, всегда помнил рядом с собой отца, а с 4 лет — постоянно и маму. Вряд ли я терялся в догадках, но, зная себя, могу предположить, что некоторое недоумение я все же испытывал, тем более что родина — мать. Я хорошо помню небритую щеку отца, пропахшую солью, табаком и водкой. Так вот, почему-то именно это я помню о Сталине. Небритую щеку вождя я чувствую у своей щеки и посейчас. Только без запаха моря и алкоголя. Не знаю, что сие за бред, но такова детская память, и я ее не выдумал позже, а именно физически всегда ощущаю. И без ужаса, который привязал к нему уже в более сознательном отрочестве. Просто небритая щека как родного человека. Странное дело, что такова память об этом безусловном изверге. Этого я не понимаю и объяснить не берусь. Собственно, стальной волей вождя народов мы все и были заброшены на самый край русской Ойкумены. Сначала в Приморье, после того как в Питере у отца на корабле что-то там взорвалось.

Он был в отпуске, но как начальник ходовой части обязан был, по тогдашним законам, ответить. Не знаю, что еще там произошло, но только его как героя двух войн не расстреляли и не посадили и погон не сорвали, а выслали без очередного чина по месту последней перед тем службы: Порт-Артур — Владивосток. Попал ли он опять в Порт-Артур неведомо, но матушку мою, ехавшую каким-то «пятьсот-веселым», он дождался, а вскоре после моего рождения помахал где-то кортиком по-пьянке — и его услали еще дальше, на Камчатку. Сознание мое только прояснилось и было фрагментарно — и так в памяти все и отложило. Какие-то дома. Фрагменты Владивостока с трамваями на сопках над бухтой. Казармы. Корабли. Кубрики, каюты, машинное отделение, кают-компания. И все их звуки, и запахи, и движения я помню с

иногда мучительной отчетливостью и определенностью. Были и целые связанные фрагменты, и очень странные — о них как-нибудь потом. И сотни, тысячи разных людей, среди которых о матушке моей первые 4 года памяти ни малейшей. Это тем более странно, что я до удивления похож на ее, как и на отцовские, детские фотографии, и похожесть — в моем собственном ребенке. Матушка появилась вместе с родившимся братом. И вместе с комнатой, впервые осознанной как дом свой и родной. Это был двухэтажный, барачного типа, из мощных бревен, длинный, на два подъезда дом, каких полно в разных вариантах по всей России. Там были печи и плиты — и все как у людей. Там появились абажуры, занавески, ширмы и всякие бытовые мелочи — и они были свои — и это было уютно даже в бесконечных сваргах с соседями из-за керогазок или еще чего. А до того я из близких знал лишь отца, а домом моим были его корабли и казармы. А поскольку отец часто не мог брать меня в море (шла корейская война и там, в пограничье, — необъявленная война с Америкой), то я был как приемный сын тихоокеанского флота. Последние места нашего жительства были на его эсминце и в казарменных постройках в Торье, что через бухту от Петропавловска. И еще перед самым этим новым жильем жили мы в какой-то чудовищной постройке, сколоченной из ящиков из-под «Беломора», — из фанеры — и зимой его заваливало снегом, так что выходили, прорубаясь в обледенелые сугробы. А в оттепель — по колени заливало талой водой. И там была буржуйка и патефон. И было это где-то в Шанхайчике. Меня туда-сюда выносили и вносили. А пол был шаткий, из мостков из щепок и глины. Жилье это помню отчетливо, но где — не знаю — где-то в сопках, а в каком из Дальневосточных шанхайчиков — никто из тогда знавших меня уже и не помнит точно. Зимой там было тепло и уютно — пол промерзал и его настилали новыми слоями картона, щепок, досок и фанеры; весело плясал и день и ночь огонь в буржуйке, сделанной из бочки, а когда заводили патефон, а мне разрешали крутить ручку — я помню себя и вовсе счастливым до сегодняшней памяти. Там были какие-то тетеньки, но кто — не знаю. Вообще я, наверное, напрасно мучаю себя, пытаюсь связать эти фрагменты в сюжет. Сюжет не получается. Слишком мал я был. И слишком у многих жил. И слишком многие не помнят, или не могут, или не хотят помнить то, что помню я. Значит, что так и надо. И нечего умничать. Как было, так и было. И всё. Помню оттуда еще, как меня купали эти тетеньки в оцинкованном корыте в пенах хозяйственного мыла и окатывали сверху из ковша и чайника — это одно из самых счастливых воспоминаний.

Было весело, и все смеялись. И я тоже. Это запомнилось. В этом же корыте потом стирали, и я старался помогать — стирал платки и салфетки. Потом был какой-то пожар — и обрыв памяти — как будто целый кусок вынули из головы, все черно. Сталин, аккуратно вырезанный из «Огонька», с добрым лукавым прищуром, повсюду сопровождая меня, смотрел со всех этих памятных мне стен. И говорил со мной из круглой черной вогнутой тарелки с огромным магнитом в центре. Сталин говорил, а я рос. Он говорил, говорил, а я — рос, рос. И наконец, мне исполнилось аж 5 лет. А он взял да и умер. Как воспринимали это окружающие, я не понимал. Помню только физическое ощущение охватившего всех вокруг ужаса. Ужас этот живет во мне и по сей день. Никуда он не делся. Потом весь край захлестнула уголовщина, и повсюду хлынули толпы беспризорников, рваных, вечно голодных, готовых на все, не боящихся ни бога ни черта. Позже я узнал, что это и была знаменитая бериевская амнистия. Специально для хаоса и захвата власти. По ночам в городе гремели выстрелы, доносились вопли. Потом милиция начала облавы. Беспризорников они, не цацкаясь,

порой просто отстреливали из пистолетов. У нас на чердаках и рядом в Шанхайчике скрывались наши знакомые беспризорники, и мы все видели своими глазами. Беспризорниками становились очень даже просто и из домашних. Через 2 года, уже в первом классе, моего одноклассника Ромку отправили в детскую колонию. Мать его жила в Шанхайчике за ручьем и стирала. Она крепко пила и избивала его. Отец его, кажется, что сидел. Через год Ромка вернулся, и мы собрались в Шанхайчике на его рассказы. Он сразу стал угощать нас невесть откуда взявшимся у него «Казбеком», уверяя, что эти папиросы даже Сталин уважал. Он нарочно громко хохотал, сплевывал, цыкал гнилыми зубами и объяснял нам про женщин, что сиськи у них все разные, а пизда у всех одинаковая, только волосатостью и отличаются: «Была у меня там одна, — приговаривал он, стряхивая шикарным жестом пепел и как бы мечтательно закатывая глаза. — Да и не одна была», — добавлял, как бы опомнившись. Мы просто фонарели. По его крутым, матом обсыпанным словам выходило, что за ним уже есть и банда пацанов, и девочки-давалки, и два побега (он показывал какие-то на теле рубцы), и настоящий пистолет, зарытый где-то в сопках. Финку с наборной ручкой он нам предъявил сразу. Потом он пропал вовсе, а куда — мне неизвестно.

В том же учебном, с 55-го на 56-й, году у матушки моей начались страшные кровотечения. Что-то такое с легкими и желудком, что ли. Несколько лет нескончаемого ужаса подорвали ее здоровье. От холодной из колонки воды у нее отнимались руки. Она слегла. Начиналось время послабок, и отец увез ее на материк вместе с маленьким моим братом. Брата они оставили у бабушки в Питере, а сами поехали на Кавказ (в санаторий и к приятелям своим).

Меня отдали на попечение 2—3 соседских семейств. Они хорошо ко мне относились. Помню тетю Саиду, крымскую татарку, жену офицера флота. Были еще и татары, и русские, и грузины, и не помню кто еще... Но справиться со мной было непросто, я был тих, но дик и периодами вовсе неуправляем. Я перестал ночевать дома, мыться, а потом и есть не приходил, ночевал на чердаках да шанхайчиках с беспризорниками и вместе с ними попытался бежать почему-то в Китай. Это была не последняя попытка побега и, к счастью, как и все — неудачная. Нас сняли уже с парохода и, надрвав уши, отправили в милицию, где добрые дяди нас долго не мучили, а почти что сразу на этот раз отпустили. В Китае, как известно, — лето круглый год, еды всякой, фруктов — навалом, там живут обезьяны, тигры и попугаи, на роскошных пальмах сидят еще более роскошные райские птицы сирины из художественного кинофильма «Багдадский вор». Представляю наше тогда горькое разочарование. Бог уберег. Школу я, естественно, бросил, и меня решили исключать. Но тут вернулся отец. Он меня запер и стал драть до посинения и учить, и первый класс я закончил паинькой, озлобленной, но послушной, и на «хорошо». С тех пор глаз с меня уже не спускали, и я постепенно отстал от дворовых компаний, втянулся в учебу, стал читать запоем что ни попадя, влюбился в одноклассницу и начал сочинять стихи. Это ввело меня в новый круг отчуждения — но об этом не место и не случай рассуждать. Потом было многое что. Потом мы уехали на материк. Но перед тем всем Сталин взял да и умер. Вот такие дела. А еще перед тем было землетрясение, и небо смешалось с землей, и все побежали в сопки, весь город. И это было страшно. Тогда я потерялся. В предпоследний раз. Потом я нашелся. А еще и еще перед тем на город хлынули крысы. И это было страшнее страшного, потому что было непонятно. Но мы это пережили. Они шли и шли. Они были драные, с пролысинами, огромные, как кошки. Их оскаленные с безумными глазами морды снятся мне и по сей день. Они шли и шли.

Отовсюду. Из стен. Из окон. Из дверей. Брат мой, младенец, еще визжал в кроватке. Отец дал мне швабру и кортик, и я махал ими, стоя на табурете, а сам он стоял среди комнаты между Мишкиной кроваткой и кроватью в углу у окна, где в обмороке от страха лежала матушка, и рубил, рубил, рубил японским трофейным мечом налево, и направо, и вокруг. И вид его был столь же безумный, что и у этих визжащих оскаленных крыс, которые летали вокруг живыми волнами драной вонючей шерсти и все вокруг рвали и жрали, а потом вдруг падали, усевая пол окровавленными искромсанными плешиво-меховыми трупиками. И визг японского меча сливался с их визгом, а блеск ее молниеносной смертельной непостижимой закалки стали сливался с бешеным блеском глаз этих обезумевших амбарных из портовых пакгаузов бегущих крыс. Они все шли и шли. А я все бил и бил их шваброй и кортиком, и это было сначала страшно. Потом было землетрясение, а потом Сталин учудил — взял да и умер.

Мишка еще ничего не понимал, но кричал без конца. И отец кричал: «справа бей, слева давай бей, Вовка». И я бил. И страх проходил. И приходило безумие. Радостное безумие. Которое до конца дней мне уже не избыть. И я — такой мирный, и послушный, и забитый, и запуганный — весь век свой несу и пронесу до конца дней своих эту безумную радость битвы, эту родовую схватку моего изуродованного, но и в уничтожении гордыней живущего характера, закаленного в смертельных невидимых моим сверстникам боях с тенями тех самых раннего детства моего с ума сошедших крыс. Я, помню, задел-таки кортиком двух-трех крыс, а одну ударил в голову, и она повисла секунду на острие и рухнула под ноги, задев меня. И я кричал. Я выл. И это было нечто, что не избыть уже. И мне было четыре с чем-то года. И отец меня хвалил. Потом. Когда живые крысы ушли в сопки, а мертвые кровавыми трупиками усеяли всю нашу комнату. Когда я уже плакал и бился в истерике. Когда меня неудержимо рвало от отвращения и я заблевал все вокруг себя и хрипел, и кричал, и бился головой об пол рядом с этими мертвыми крысами, чуть что не обнимая их руками. Наверное, это был припадок. У меня всегда подозревали эпилепсию. Еще во Владике меня где-то уронили в какой-то бетонный подвал, и я летел головой в пол метра три, и мне было несколько месяцев. А перед тем меня отец возил, привязав сзади к велосипеду на кормление куда-то из гарнизона в больницу за несколько километров каждый день, и как-то, особо пьяный, упал вместе со мной со скалы в море. Сколько метров мы летели, теперь уж только Богу известно. И только Богу известно, почему мы остались живы. И еще я помню обстрелы с самолетов по кораблям; и помню, что глож от ударов пуль по палубе, на которую меня швырял отец, и от твюканья корабельных зенитных пулеметов. Еще кто-то бросился в колодец. Потом мы тонули. Нас снимали на шлюпки, и все горело, даже море, потом помню ледяное поле до горизонта и бегущих и лежащих людей, и сверху опять самолеты, и лед, взметающийся мириадами осколков вокруг — и маленькими фонтанчиками, и огромными до неба столбами. И еще черт знает что я помню, и сам себе уже не верю. Не может быть. Негде. Не было ничего такого. Разве что с моим рождением не все так просто, как зафиксировано в бесстрастных чудом кем-то выбитых документах, из которых явствует, по всем тогдашним законам, что я незаконнорожденный. Но то все мелочи в сравнении с живой памятью. А память упорно напоминает: крысы ушли, все убрали, прошли и стали забываться слухи о загрызенных, о разорванных ими людях, кошках и собаках, о выпотрошенных городских складах и прочее и прочее — опять заиграли патефоны модные тогда и сладостные мне навсегда танго и фокстроты, и голоса опальных, но любимых всеми Лещенко и Вертинского пели с контрабандных пластинок о бананово-

лимонном Сингапуре и о том, что я в степях Молдавии родился и любил там табор свой родной, о том, что нам поместье целый белый свет и прочее. И все пошло своим чередом, страшно — по-русски, — но привычно. Да недолго. Ночью как-то трянуло так, что я упал с кровати. Все уже встали. Матушка опять кричала и плакала. Отец сердился, но был тоже испуган. Никто: ни мы, ни соседи — ничего не понимали. Трясло каждый день, но такого не было еще. Такого — никто не помнил. Падали шкафы, керогазы, полки, билась посуда, лопались стекла, рассыпались печи, лампы летали маятниками, пол ходил ходуном так, что и не устоять, — весь дом ходил, скрипя бревнами, как живой. Думали, что атомная война. К ней готовились. И все побежали. Эвакуация. Улица — весь город — крича, бежал в сопки. Паника была невероятная. Громко передыхая, стояли, глядя сверху на зрелище воистину фантастическое: дома плясали, и в горящем заревом небе вставали клубы дыма, и печные трубы, как во сне, медленно так, как бы нехотя, отрывались от крошащихся крыш и оползали, рассыпаясь в полете, на снег, где взрывались столбами кирпично-снеговой пыли. Потом опять бежали. Такого я уже никогда не видел, чтобы весь город бежал неведь куда. Бежал и кричал. Сотни и тысячи людей, кошек и собак. И все кричали. Потом я потерялся. Потом, где-то через сутки-двое, — меня нашли. Потом мне исполнилось 5 лет. А потом Сталин учудил: взял да и умер. Этого от него никто не ожидал. Из обычных людей. Там, наверху, может и ожидали. А вся втопанная им в грязь, и льды, и ужас Россия — нет, она не ожидала. Она испугалась и еще больше затаилась. Как бы спряталась. Как северный страус — башкой в сугробы и задницей наружу. И лишь одни бериевские молодчики да уголовники впали в своего рода кровавое бесчинство и стали громкими, да видными, да смелыми — без хозяина-то, без пахана своего драгоценного, которого сами же и доухандоухали. Потом разгул как-то вдруг захлебнулся, и повеяло весной, а год-другой спустя назначили сверху и так называемую «оттепель». И как-то вовремя назначили. Удачно то есть. Несколько дней еще город засыпало пеплом. И снег стал черным и грязным, и город был как после великанского что ли погрома. Какие-то выпотрошенные матрасы и подушки. Какие-то всюду брошенные чемоданы, белье, пальтишки, шапки, детские коляски, какие-то серые толпы бестолково идущих туда-сюда людей, из которых резко выделялись униформой лишь милиционеры и военные, еще растерянные, как и все, но уже в силу привычной дисциплины и им лишь одним известных приказов сверху сплоченные в монолитные сине-чернобурые линейки и прямоугольники и деловитые своим служебным, непонятным, но допущенным всеми и указанным кем-то там делом. Потом еще многое что было. Но все меньше было и крыс, и землетрясений. Как-то меньше запомнились, что ли. А потом все меньше становилось Сталина и все больше о нем разговоров. И наступил день Когда. И наступил этот самый день Когда — тоже вовремя. Мы с братом слегли с высочайшей, подолгу не спадающей и все время возобновляющейся температурой, и из носопырок у нас без конца текла кровь — ее умиряли, а она текла и текла, и так много ее было, что даже страшно вспоминать. И отцу моему все же разрешили вернуться на материк. И мы уехали к новым мытарствам, уже тем одним и отрадным, что они были новые и в новых, тоже повязавших мое сердце краях. Но сначала родился мой брат, и я заново познакомился со своей матушкой. Потом появился у нас свой собственный дом — угол в коммуналке на втором этаже. Потом пошли крысы. Потом было страшное на памяти всех, старожилов даже, необычной силы землетрясение. Потом мне исполнилось 5 лет. А

потом Сталин взял да и умер. И уж потом было все остальное, что было и что запомнилось.

P.S. (Без царя в голове)

Все это, конечно, мое теперешнее представление о первых годах моей жизни в контексте заданной себе темы. Всё — и те события, и мои и тогда и сегодня эмоции, и сама память моя о том — несоизмеримо сложнее и богаче этих коротких втиснутых в рамки темы заметок. Это по сути — один из взглядов, брошенных из сегодня в начало моего сегодняшнего вчера в сиюминутном настроении — не больше. Что же конкретно к теме: «Сталин», то хотелось бы мне увидеть человека моих лет, родившегося в России и искренне равнодушного к этой теме. Мне понятно одно: Сталин как личность историческая, Сталин как человек живший, Сталин, оставшийся в памяти, и Сталин, воображаемый сегодня, — это все суть разные понятия. Посему я полагаю, что, будь где и культ доброго, сильного и справедливого вождя принимаем априори и безусловно подавляющим большинством населения или, наоборот, малым числом, даже единицами — как бы они ни заблуждались — это их личное дело до тех пор, пока остается убеждением внутренним и не ведет к агрессии, войне и насилию. Запретить здесь ничего нельзя. Каждый народ достоин своего вождя. Каждый народ достоин своего воображаемого вождя.

Что до меня, то я — художник. Художник — это ремесло по призванию. По призыванию. По призванию не идеологии, а Природы в ее изначальном проявлении. Не царь в голове, но Бог в сердце. Точнее: не этот и не тот царь в голове, но сердце в Боге. Т. е. без чужого царя в голове, ибо Бог и только Бог воцаряет в каждой голове своего помазанника, какого достоин каждый, будь то ничтожный, великий человек или собрание людей в круг общения, в народ, нацию, государство, — царь в смысле — царит (он же и вождь — ведет/ведает). И здесь возможны и цари царей, и вожди вождей — где даже выскочки исполняют не всегда желанный нам (но раз терпим — то подспудно желанный) — Божий Промысел. Художнику проще многих. У него: не царь в голове, но он сам с царем в голове, и ремесло его, по видимости бесполезное, уже одним тем, что бесполезно развивается, очевидно, неистребимо тысячелетиями — изначально уже Божий Промысел. И значит, все же не без царя в голове, но не по смертному умыслу, а по воле Божьей. Царь в голове — сердце в Боге.

СПб, 1993